

ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС

ШАЛАЯ ЛИСТВА



ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

Злосчастливого же тело Полиника
Он всем через глашатая велит
Не погребать и не рыдать над ним,
Чтоб, не оплакан и земле не предан,
Он сладкой стал добычей хищным птицам.
Как слышно, сам Креонт по доброте
Тебе и мне — да, мне! — о том объявит.
Сюда идет он возвестить приказ
Не знающим его, считая дело
Немаловажным, — и ослушник будет
Побит камнями перед всем народом*.

(Из «Антигоны»)

* Фрагмент из трагедии Софокла «Антигона» приводится в переводе С. Шервинского и Н. Познякова.

Вдруг — словно бы вихрь пустил корни посреди городка — нагрянула банановая компания, а за нею налетела шальная листва. Листва взбаламученная, растревоженная, сплошь из людских ошметков и кусков иных селений: отголосков гражданской войны, с каждым днем все более далекой и невзаправдашной. Поток листвы был неумолим. Все вокруг она заражала суматошным запахом столпотворения, смрадом выделений, витающих над самой кожей, и потаенной смерти. Меньше чем за год завалила городок сором многочисленных бедствий, явившихся раньше ее самой, расшвыряла по улицам невнятные кучи отбросов. И отбросы эти споро, в непредсказуемом спотыкающемся ритме бури разделялись в себе и обретали собственный облик, покуда не превратили

нечто, состоявшее из улочки с рекой на одном конце и захудалым погостом на другом, в своеобразный и непростой городок, собранный из отбросов других городков.

Вперемешку с порывистым необоримым людским листопадом принесло отбросы лавок, лечебниц, увеселительных заведений, электростанций, отбросы одиноких женщин и тех мужчин, что привязывали мула у столба в первой гостинице и из багажа имели разве деревянный сундук либо узелок с платьем, а через пару месяцев уже жили в собственном доме с двумя любовницами и носили военное звание, настигшее их с опозданием, потому как и сами они на войну опоздали.

Отбросы печальной любви больших городов и те добрались до нас с шалой листвою и понастроили деревянных домиков; и сперва выделили по уголку, где полкойки сходило за сумрачный приют на одну ночь, а после проложили шумную подпольную улицу, а еще позже устроили целый поселок терпимости внутри городка.

В воронке этого смерча, в круговороте незнакомых лиц, навесов, расставленных поперек тротуара, мужчин, переодевавшихся посреди улицы, женщин, восседавших под зонтиками на сундуках, и бесчисленных мулов, брошенных подыхать с голоду в гостиничной конюшне, первые становились последними, и все мы здесь были чужаками, пришлыми.

После войны, приехав в Макондо и убедившись в свойствах тамошней почвы, мы уже знали, что шалая листва рано или поздно нас занесет, но не представляли покуда ее силы. Поэтому, когда лавина подступила, нам ничего не оставалось, кроме как выставить за порог тарелку с вилкой и ножом и дожидаться, чтобы вновь прибывшие соизволили с нами познакомиться. Тогда-то впервые и раздался гудок поезда. Шалая листва подалась вспять и ринулась ему навстречу и в развороте утеряла запал, но обрела единство и плотность, подверглась естественному прению и слилась с проростками под землей.

(Макондо, 1909)

1

Я впервые увидел покойника. Сегодня среда, но у меня чувство, будто на дворе воскресенье, потому что в школу я не пошел и одели меня в зеленый вельветовый костюм, который кое-где жмет. Мама ведет меня за руку вслед за дедом, а тот перед каждым шагом постукивает тростью (он плохо видит в полутьме, да еще и хромает); проходя мимо зеркала в гостиной, я увидел себя в полный рост, всего в зеленом и с белым крахмальным бантом, который тоже с одной стороны жмет шею. Я посмотрелся в круглое мутное зеркало и подумал: «Вот он я, будто на дворе воскресенье».

Мы пришли в дом, где лежит покойник.

В закрытой комнате жарко и душно. Слышно, как на улице гудит солнце, но

и только. Воздух затхлый, плотный; кажется, его можно согнуть, словно стальной лист. В комнате, куда положили труп, пахнет сундуками, но сундуков нигде не видно. В углу гамак, подвешенный за кольцо. Пахнет мусором. Мне кажется, ветхие — а некоторые и вовсе развалившиеся — вещи вокруг с виду как раз таковы, что им положено пахнуть мусором, даже если на самом деле у них другой запах.

Я всегда думал, что мертвецы должны быть в шляпе. Теперь вижу, что ошибался. Вижу, что у мертвецов стальная седина и подвязанная челюсть. Вижу, что у них приоткрыт рот и за лиловыми губами можно разглядеть неровные зубы в бурых пятнах. Вижу, язык с одной стороны прикушен, он толстый и обложенный, цветом чуть темнее лица, как пальцы, если их перехватить веревкой. Вижу, глаза у них открыты — гораздо шире, чем у людей, — и жадно выпучены, а кожа будто бы скатана из крепко сбитой сырой земли. Я думал, мертвец похож на мирно спящего

человека, а теперь вижу, все наоборот. Он похож на человека не спящего и полного ярости, будто только из драки.

Мама тоже нарядилась по-воскресному. Она надела старинную соломенную шляпку, скрывающую уши, и черное, наглухо застегнутое платье с длинными рукавами. Сегодня среда, и поэтому вид у мамы далекий и незнакомый; она вроде бы хочет что-то мне сказать, пока дед поднимается навстречу принесшим гроб. Мама сидит со мной рядом, спиной к закрытому окну. Она тяжело дышит и поминутно поправляет пряди, выбивающиеся из-под надетой впопыхах шляпки. Дед велел поставить гроб у кровати. Только тогда я и понял, что покойник туда поместится. Когда гроб заносили, мне показалось, он маловат для тела, растянувшегося на всю кровать.

Не знаю, зачем меня привели. Я никогда не бывал в этом доме и даже думал, что в нем никто не живет. Дом большой, он стоит на углу, и двери его на моей памяти ни разу не открывались. Вот я и решил,

что дом пустой. Только теперь, после того как мама сказала: «Сегодня после обеда в школу не пойдешь», и я не обрадовался, потому что голос у нее был тихий и серьезный, и она вошла с моим вельветовым костюмом и молча одела меня, и у дверей мы встретили деда и вместе прошли три дома, от нашего до этого, — только теперь я понял, что здесь, на углу, кто-то жил. Жил, а теперь вот умер, и, видимо, это про него мать сказала: «Веди себя благоразумно на похоронах доктора».

Войдя, я не увидел покойника. Я увидел деда, он стоял в дверях и разговаривал с работниками, а потом велел нам проходить дальше. Мне подумалось, что в комнате кто-то есть, но изнутри она выглядела пустой и темной. С первой минуты мне в лицо ударил и зной, и этот мусорный запах; вначале он был крепкий и никуда не пропадал, а сейчас точь-в-точь как зной, накатывает медленными волнами и исчезает. Мама провела меня за руку по темной комнате и усадила рядом с собой в углу.

Я не сразу начал различать вещи. Дед попытался открыть окно, словно приросшее к собственным краям, сплавленное с деревянной рамой, а потом стал тростью бить по щеколдам; пиджак у него весь запылился и при каждом ударе испускал облачко пыли. Я повернул голову на голос деда, признавшего поражение в битве с окном, и только тут понял, что на кровати кто-то лежит. Темный, вытянувшийся, неподвижный человек. Я развернулся к маме; она серьезно и отрешенно смотрела куда-то в глубь комнаты. Ботинки у меня не достают до пола, а болтаются довольно высоко, поэтому я засунул руки под ляжки, ладонями вниз и стал бездумно качать ногами, пока не вспомнил, что сказала мама: «Веди себя благоразумно на похоронах доктора». Тогда я ощутил холод за спиной и вновь посмотрел туда, но увидел лишь сухую деревянную стену, всю в щелях. И словно бы кто-то сказал мне из стены: «Не болтай ногами, это ведь доктор лежит на кровати, и он мертвый». Я снова глянул на кро-

вать и увидел его по-новому. Не спящим, но мертвым.

С той минуты, как бы я ни старался отвернуться, меня будто держат за голову и заставляют смотреть. Я стараюсь перевести взгляд куда угодно, но все равно везде вижу его выпученные глаза и зеленое мертвое лицо в темноте.

Не знаю, почему никто не пришел на похороны. Только мы с мамой, дед и четверо индейцев гуахирос, которые на деда работают. Они принесли мешок извести и вывалили ее в гроб. Если бы мама не сидела как чужая, я бы спросил зачем. Не понимаю, что там извести делать. Когда в мешке ничего не осталось, один из четверых вытряхнул его над гробом, и вылетели какие-то завитушки, больше похожие на стружку, чем на известь. Покойника подняли за плечи и за ноги. Он в обычных брюках на широком черном ремне и в серой рубашке. И в одном левом ботинке. Как говорит Ада, на одну ногу король, на другую босяк. Правый бо-

тинок валяется в изножье кровати. Будто бы в постели покойнику трудно лежало. В гробу-то ему удобнее, спокойнее, и только что живое, неспящее лицо прямиком из драки выглядит теперь покойно и уверенно. Профиль смягчился, словно его обладатель почувствовал, что наконец добрался до места, полагающегося ему как мертвецу.

Дед сновал по комнате: собрал что-то и положил в гроб. Я снова посмотрел на маму в надежде на объяснение, почему дед так себя ведет. Но мама по-прежнему невозмутима в своем черном платье и, кажется, старается не глядеть в сторону покойника. И я бы так хотел, да не могу. Я смотрю на него в упор, изучаю. Дед закидывает в гроб книгу, делает знак работникам, и трое из них закрывают труп крышкой. Только тогда мою голову отпускает, я могу отвернуться и начинаю рассматривать комнату.

Я снова смотрю на маму. Впервые с прихода в этот дом она окидывает меня

взглядом и улыбается вымученной, пустой улыбкой; вдали слышен гудок поезда, теряющегося за последним поворотом. Из угла, где покойник, доносится шум. Работник приподнимает крышку, и дед кладет в гроб забытый на кровати ботинок. Снова гудит поезд, теперь еще дальше, и я вдруг думаю: «Сейчас половина третьего». И вспоминаю, что в этот час (пока поезд исчезает за последним поворотом городка) мальчики в школе строятся на первый вечерний урок.

«Авраам», — думаю я.

Не надо было приводить ребенка. Ни к чему ему такие представления. Мне вон скоро тридцать, а и то не по себе становится рядом с покойником. Мы ведь можем встать и уйти. Можем сказать папе, что нам плохо в этой комнате, где семнадцать лет копился хлам человека, не ведавшего ни любви, ни благодарности, ничего подобного. Мой отец, наверное, единственный относился к нему более или менее